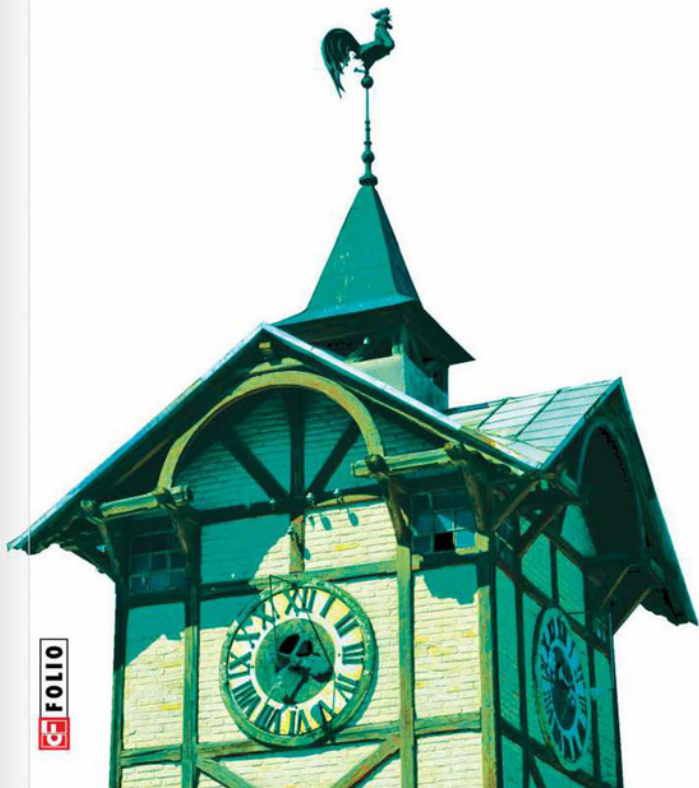


ВАСИЛЬ МАХНО

КУРЫ НЕ ДЕТАЮТ



F FOLIO

Василь Иванович Махно

Куры не летают (сборник)

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22027905
Василь Махно Куры не летают: Фолио; Харьков; 2016
ISBN 978-966-03-7536-9

Аннотация

Василь Махно (род. в 1964 г. в Чорткове на Тернопольщине) – поэт, прозаик, эссеист и переводчик. Его произведения переведены на многие языки. Лауреат нескольких литературных наград, в том числе Фонда Коваливых (2009), Международной поэтической премии «Повель Мораве» (Сербия, 2013), «Книга года BBC» (2015). С 2000 г. живет в Нью-Йорке и путешествует по всему миру, посещая литературные фестивали. Впечатления от разных стран, встреч с интересными людьми, воспоминания о жизни в Украине в советское и постсоветское время легли в основу новой книги прозы Василя Махно «Куры не летают», написанной на стыке эссеистики и беллетристики. Индия и Австрия, Колумбия и Ирландия, Америка и Украина – разные культуры, религии, ментальности... Но несмотря на то, что автор уже давно живет в Америке, он не забывает о своих корнях, о том, что он украинец. Это проявляется в его любви к природе, в масштабном видении мира, уважительном отношении к другим

культурам и народам. Прекрасная лирическая проза, от которой невозможно оторваться...

Содержание

I	6
Куры не летают	6
Чортков	50
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Василь Махно

Куры не летают

© В. И. Махно, 2016

© Н. Ю. Бельченко, Э. А. Хвиловский, А. С. Юхно, перевод на русский язык, 2016

© Л. П. Вировец, художественное оформление, 2016

* * *

I

Куры не летают

Было время, когда базарские холмы казались самыми высокими и самыми зелеными. А Джуринку я носил за пазухой, как найденные в траве перепелиные яйца. И дожди приходили к нам, как на Покрова гости. И снега паслись на берегах Джуринки.

Было время, когда заячья губа Горб-долины, чуткое ухо Той Горы и плавник Заводы вместе с перезвонами ведер о колодезные камни, предвечерним ревом коров с ноздрями, облепленными травой, плотным воздухом, который пах коровьим молоком, – протекали сквозь меня, словно весенняя вода Джуринки сквозь снежные запруды по весне. Я ничего еще не понимал, потому что верил пророчествам деда, будто когда-нибудь мы станем курами, муравьями и рыбами, и наша память будет легка, словно воздух родного дома.

Будет время, когда наши куры станут нести белые яйца жизни и смерти – на рождественскую, расстеленную на полу солому; для наших прозрачных слов.

Нью-Йорк

В марте 2013 года я пытался связаться с незнакомым мне Тони Созанским, который живет на 39-й улице в Манхэттене. По моему предположению, он должен был иметь отношение к Фердинанду Респалдизе, полковнику кавалерии, последнему помещику села Базар.

Нью-Йорк отбивался от весенних ветров, а Тони отбивался от меня. Я всего лишь записал на автоответчик просьбу, чтобы Тони мне ответил. Прошла неделя, и мы с Тони уже разговаривали о семействе Респалдиз, о его отце Эндрю Созанском, проживающем в Оттаве, чей телефон Тони продиктовал мне в конце нашего разговора. Когда очередной дождь заливал улицы Нью-Йорка, я зашел в кафе *Think Coffee* на Четвертой авеню, заказал черный английский чай, отыскал свободное место и, вынув свой лэптоп, начал записывать все известные мне на тот момент подробности.

Все началось с важного для любого европейского закутка 1939 года – времени, когда Респалдиз вышвырнули из их фольварка: парализованного полковника и готовую принять любые вызовы судьбы его супругу Матильду, чьи предки владели базарскими угожьями издавна. Это странное экзотическое слово «Респалдиза» я слышал с раннего детства от прадеда Михаила Кардинала, который не дотянул каких-то полтора года до сотни своих сморщенных, как кожа, лет. Он все-

гда возвращался на фольварк, к коням помещика Респалдизы и к самому помещику Респалдизе, с которым, служа тридцать лет старшим конюхом, сошелся, как могут сойтись хозяин и слуга, шляхтич и крестьянин, с соблюдением соответствующего расстояния и этикета.

Городок или местность Респалдиза находится неподалеку от Бильбао. Слово испанское, что свидетельствует об испанских корнях самого Фердинанда. На том базарском пространстве уничтоженный фольварк, как оказалось, не исчез из памяти. К нему возвращались, когда вспоминали о Польше, о 1939 годе, о Мошке Ашкенази, управляющем фольварка. Даже когда на месте уничтоженного барского дома и всех хозяйственных построек поставили колхозные курятники, которые потом тоже пришли в упадок, а фольварк сравнялся с землей. Мне рассказывали, что возле этих курятников находили толстое цветное стекло, – похоже, что это было запаянное в металлические узоры стекло господских витражей. Что-то все же остается, не только слова и память – нечто уходит глубоко в землю. Респалдизу похоронили на местном кладбище возле часовни помещиков Волянских. После войны, в 1946-м, кажется, году, разрушат также и часовню. Вход в нее будет завален. А через некоторое время истлеет деревянный крест на могиле Фердинанда Респалдизы, холмик зарастет, сровняется, и все поглотит земля.

Приблизительно через неделю Эндрю Созанский из Оттавы, Анджей, внук Фердинанда Респалдизы, позвонил мне в

Нью-Йорк, когда меня не было дома. А еще через два дня я разговаривал с ним, выясняя мелкие детали его родословной, о его деде, о маме Бланке Респалдизе, объясняя ему, кто я и откуда и почему меня интересует Фердинанд Респалдиза. Я не уверен, что убедил Эндрю, которому сейчас 80 лет. Эндрю не помнил ни одного своего приезда в Базар, но сказал, что у него есть какие-то фотографии фольварка и он даже сам составил свое родовое древо. И обещал, что пришлет мне все это на электронную почту.

Базар. Возвращение

В сентябре 2012 года на «шевроле» брата мы ехали к Базару через Язловец, через городок на семи холмах, похожий на подсвечник. Его склоны с лощинами, с паутиной улиц, с башнями и церквями удерживали когда-то границу между Османской империей и Польским королевством. А при выезде на трассу Бучач – Залещики нас сопровождали полки желтой кукурузы, заросли посадки и стаи псов, возникавших из зеленых еще кустов и разнотравья.

К Базару мы подъехали со стороны Буряковки, огибая кучи мусора, которые жители села свозят годами, и выродившийся из-за недосмотра сад. А дорожный знак «Базар» обозначал первый рубеж, за которым лишь память могла справиться со словами. Когда «шевроле» поравнялся с зелеными воротами, за которыми двор, где никто не ходит, и хата,

в которой никто не живет, мама, приехавшая также с нами, долго открывала ворота, потому что за время ее отсутствия, как это бывает, заржавел замок; тогда замок рванул я, потом еще долго возились с дверным замком, словно дом на нас обиделся и не хотел впускать. В хате напротив кафельной печи – стол, застеленный клеенкой, видно, что мама заменила ее, потому что старая клеенка всегда была с порезами, с бурыми кружочками от горячих кружек, пятнами. Теперь чисто, на подоконниках – цветы в обернутых фольгой горшочках, их так любила бабушка. Как им перезимовать тут одним? Тот же бамбетль¹, расписанный всегда ярко-красной краской, покупаемой в *железной лавке*. Если была хорошая погода, бамбетль выносили во двор, и он сох себе под солнцем. Буфет, сделанный старым Шабатом, с прилаженными косо-криво дверцами, их всегда было неудобно закрывать. Под зеркалом – небольшой, вышитый толстыми цветными нитками, когда-то купленными у Параски Крилевой, которая получала посылки из Америки, – карман для расчесок, а иголки с нитками были воткнуты в вышивку.

Некоторые из этих предметов, нашедших для себя в моей памяти некий удобный закуток, да еще фотоснимок деда, домотканое полотно – эти предметы, от которых не избавились, знакомы мне с детства. Яблони засохли, сливы перевелись

¹ *Бамбетль*, или *бамбетель* (от нем. Bankbettel) – раскладушка-кровать для сна, складывается и для сиденья. Одновременно выполняла также функцию сундука.

вместе с кустами малины и красной смородины, камни на старом погребке поглотило молчание. Зачем-то стоит еще во дворе штабель кирпича, хрупкий и поросший зеленым лишаем, так, словно кто-то станет из него что-нибудь строить. Нет тех хозяев, которые покупали кирпич, и нет тех каменщиков, которые должны были из него что-то возводить.

В мае 2010 года из этой хаты и с этого двора повезли на кладбище 87-летнюю бабушку Анну, и все права на хату, подворье, огород, на эти камни и кирпич с лишаем – перешли к моей маме. Когда жила тут бабушка, цвел по окрестностям табак, рос чеснок и лук, червивые яблоки догнивали в картофельной ботве, а спелые сливы дышали золотым ароматом меда. Джуринка звенела – и рыба, ударяясь плавниками о ее берега, перелетала волны, словно осенние куры проселочную дорогу. И двор знал, зачем он держит на себе кирпич, и кирпич знал, для чего он предназначен, и картошка знала, когда ей цвести, и табак знал, когда его будут ломать, и хата знала, когда ее станут белить, и железо на крыше знало, когда его начнут красить, и камни знали, когда их будут собирать. И я знал, где и кто меня ждет, потому что не знал еще Нью-Йорка, а Нью-Йорк не знал меня – и как-то мы друг без друга обходились. На огородах люди копали картошку, а из школы возвращались ученики – не много, каких-нибудь четверо ребят в спортивных костюмах.

Почему я так давно не был тут, что даже Джуринка изменила цвет своей воды и глаза мои постарели?

Базар. История

Теперь, когда я перечитал газеты, выходившие во Львове и Тернополе во времена Австрии и Польши, разнообразные свидетельства украинцев, поляков, евреев и турок, просмотрел сотни фотоснимков, кадры хроники разных лет в Ютубе, пришло мне в голову, что история села Базар может быть написана в четырех книгах, словно это четыре времени года – весна, лето, осень и зима, словно четыре Евангелия, в которых сакральность и быт, божественное и человеческое переплетены, прочно связаны. Каждый из выбранных мной повествователей рассказал бы свою историю, по-своему бы определил принадлежность базарских холмов к истории, своим языком выразил бы печали и сетования. Они стояли бы на разных концах села – Павшовском, Криволуцком, Язловецком и Буряковском, – я хотел бы, чтобы они сошлись и услышали друг друга.

Для меня особенно интересной страницей базарского бытования, его своеобразной исторической метафизикой было открытие в столь неровной истории Базара – османского периода, который зафиксирован единственным упоминанием сел и местечек Подолья в турецкой переписи, проведенной для нужд турецкой администрации, находившейся в Каменце-Подольском.

Согласно Бучацкому мирному договору 1672 года,

Османская империя в 1672–1683 годах имела в Язловце границу с поляками, и почти одиннадцать лет урядники Мехмеда IV собирали дань, руководствуясь этой подробной переписью имущества и населения, а по базарским холмам гарцевали хорошо вооруженные янычары, оставляя навечно в местном генотипе косо́й разрез глаз и табачный оттенок кожи. Почему-то в Базаре находилась турецкая таможня и торговые ряды, и это селение называли по-разному: то Митница, то Базар. В составе Османской империи Базар относился к Чортковской нахии Каменецкого эйлета Подольского пашалыка.

В Базаре жили украинцы, поляки, евреи. Армяне заходили из Язловца – они принадлежали к армянской общине, которая еще со Средних веков поселилась на язловецких холмах. Галицкие евреи держали в Базаре корчмы, арендовали сад и занимались торговлей – они тоже появились тут с распространением Польского королевства на Подолье, а украинцы, частично смешавшись с турками, оставались большинством, всегда обитая на околицах великих империй. После Карловицкого конгресса 1699 года – Базар снова под польской короной. А ликвидация Польши в 1795-м прикрепила Базар к Австрийской империи, хотя некоторое время Восточная Галичина принадлежала также и России. Во времена Австрии – это окраина восточных рубежей, при Польше – тоже окраина.

В «Географическом словаре Польского Королевства и

других славянских стран», изданном в Варшаве в 1880 году, опубликована статья о Базаре, в которой сказано, что село расположено за милю от местечка Язловец над рекой Джу-рин. Всего жителей 875, из них греко-католиков 745, римо-католиков 94, армян 15, израэлитов 21. Земли пахотной 1719, лугов 124, пастбищ 19. Земля плодородная, выращиваются все сорта зерновых, а также табак и кукуруза.

Из всех окрестных сел земли в Базаре наиболее жирные и плодородные, а возвышенности и ложбины равномерно сочетаются между собой, и только восточная часть, где находился помещичий верхний фольварк, возвышается над селом, которое расползлось на четыре стороны и проросло домами также и вдоль Джурилки.

История тут уходила глубоко в землю, становясь то Валахским Гостинцем, то Могилками, то Красной Керницей, то Ставищем. История пронизывала базарское пространство из всех столетий, со всех возможных концов света и из всех империй.

Галичина пережила саму себя.

Кардиналы

Михаил Кардинал пришел в Базар из Антоновцев, за ним пришли еще шесть Кардиналов и все женились на местных татарках. Да, эти крестьяне с фамилией из наивысшей церковной иерархии стали базарскими и разделили с местечком

все – и его воздух, и его землю.

В 1945 году приехали переселенцы, среди прочих – Юрий Махно. Они тоже стали воздухом и землей Базара.

История снова переплелась и снова запуталась.

Фердинанд Респалдиза укоренился в кардинальской ветви, поскольку Михаил Кардинал, мой прадед, дважды женатый и отец четверых детей, служил на верхнем фольварке старшим конюхом.

Старший сын моего прадеда – Николай – всегда сопровождал Фердинандову дочку, когда она ездила верхом на коне, а младшая сестра деда, Мария, приходила со своим отцом поиграть. Мой дед Василий запомнил Фердинанда Респалдизу на всю жизнь, после того как пан поймал его в своем саду и сказал об этом моему прадеду. Конечно, Фердинанд не знал, как Михаил вечером вожжами от конской упряжи разъяснил своему сыну Василию, что к чему. В 1939 году старший дедов брат Николай, служивший в Войске Польском в уланах, должен был вернуться домой, а мой дед осенью того же года должен был пойти на военную службу. Но не сложилось. Николай придет домой только в 1947 году, попав в лагерь интернированных военных, а потом освободители переоденут его в советскую военную форму и повезут поездом на Дальний Восток воевать с японцами. Но пока рядовой Николай Кардинал ехал на войну, Япония капитулировала. Однако он еще два года служил в Дальневосточном военном округе.

В 1944 году Василия Кардинала, моего деда, разлучат с его молодой женой и только что родившейся дочерью; завершающаяся война еще нуждалась в нем, но он не стал землей войны. Он вернулся.

Ужи, куры и муравьи

Когда по Джуринке плыли ужи – наступало лето, а я подсматривал за нашими курами, они неслись в кустах; туда можно было пролезть, раздвинув руками колючие стебли малины или шершавые листья смородины, которые прикрывали от меня места, облюбованные нашими безмозглыми курами. Как только из курицы выкатывалось белое яйцо, я просовывал руку под куст и, нащупав его, теплое и перемазанное глиной, с прилипшими к скорлупе перьями, – торжественно нес в дом. Куриные яйца складывались в черную, с высокими стенами жестянку, в которой раз в год выпекали калачи на Пасху и раз в год – калачи на Покрова. Иногда в ней ранней весной теснились только что вылупившиеся цыплята, а в другое время хранили сахар или муку. Свежие яйца бабушка жарила каждое утро с зеленым луком, а более давние носила в лавку, покупая хлеб или спички. Самые крупные откладывала отдельно – на них подсаживала квочку. Наши куры неслись в хлеву, но были и такие, что кудахтали по кустам, а куницы, которые иногда душили и таскали наших кур, лакомились также и найденными по кустам яйцами.

В малиннике, разросшемся среди крыжовника и смородины, прятались не только куры – прятался также и я, рассматривая муравьев, облюбовавших влажный чернозем. Муравьи постоянно что-то таскали в свой дом, то проваливаясь в потрескавшуюся землю, то снова возникая на поверхности. Я приносил им в карманах сахар и подглядывал в щели земли за хаотичной жизнью муравьиного царства, представляя себя таким же муравьем, который вместе со всеми отыскивает путь под землей к своему дому. Дед говорил, что муравьи кусаются и что выносить им сахар нельзя, ведь их может набежать полный дом, и тогда они нас заберут к себе: просто вынесут ночью, и мы не сможем открыть глаза. А еще дед говорил, что над Джуриной видел перепелок и что ужи пьют их яйца в гнездах. «Лето, – говорил дед, – ведь ужи уже пьют перепелиные яйца».

Табак

Мы жили с тяжелым табачным привкусом в воздухе, мы жили в жестких стеблях табака, широких лопауких зеленых листьях с прожилками, похожими на коровьи, в их липкой смоле, которая, казалось, плыла, растворившись в Джуринке, – ее вода становилась то зеленой, то – на следующий день – бурой, или вмиг – желтой, словно заправленной желтками перепелиных яиц. Табак достигал зрелости летом, а весной его рассаду разбирали из больших деревянных контейнеров,

и ее количество старательно записывал колхозный учетчик. Потом под весенними дождями рассаду высаживали ровными рядами, – и зеленый хилый табачок вращал своими, еще довольно слабыми корешками в землю. Летом, когда листья и стебли табака входили в силу, поля после цветения пахли липкой смолой своей зеленой крови, а мы все пахли табачным цветом, от которого щекотало в носу. Сначала обрывали самые крупные листья, оставляя меньшим время для роста, стебли оголялись, цветки осыпались. От листьев табака руки чернели, под ногтями запекался липкий чернеющий сок. Все, кто обрывал табак, вдыхали пьянящий до одури запах, а черноту своих рук отмыть потом никак не удавалось. Листья складывали на рядно, аккуратно сортируя более-менее по размеру, а привезя домой – сушили на солнце, обвешивая хату веревками; стены хат на какое-то время становились похожими на зеленые воды Джуринки. На алюминиевую *еглицу* – большую иголку – нанизывали, подгоняя, листок к листку на обычном сером шнуре, потом развешивали вокруг хаты, а на солнце зеленые листья табака покрывались желтыми пятнами. Потом низки листьев, вялых и сморщенных, как рубли в кармане, выносили на чердак хаты или хлева. Там, спрятанные от дождя, низки листьев сохли и превращались в хрупкий коричневый, сморщенный от сухого воздуха табак. На чердаке низки, прикрепленные от стропила к стропилу, провисали над головами. Табак крошился, и пыль, постоянно висевшая в воздухе, пахла уже настоящим таба-

ком. Потом низки осторожно сжимали, расстилали на рогожах во дворе, снимали каждый листок, распрямляли ладонями и складывали в пачку. Лист уже был сухой и мог рассыпаться в руках, и это делалось с максимальной осторожностью. Высушенный табак надо было также отсортировать. Большие коричневые листья попадали в высшую категорию (за них платили больше), меньшие – соответственно к меньшим. Рассортированный табак ранней осенью отвозили в заготовительную контору, где, как всегда, было шумно. Люди пререкались с заготовителем из-за качества привезенного табака, а заготовитель взвешивал набитые спрессованным листом мешки из рогожи, что-то записывал в свою тетрадь химическим карандашом, который всякий раз слюнявил. От этого губы и кончик языка у него синели. А в помещении, где сдавали табак, висела коричнево-золотая пыль. Запах табака, сперва свежего, потом привяло-зеленого и, наконец, крошащегося и острого, – проникал из весны в лето, потом в осень, и я выросал с этим запахом. И бабушка Анна постоянно пахла табаком, и от ее рук, которые она парила в горячей воде, отходили коричневые нити, но руки никогда не удавалось отмыть добела. После того как наш табак уезжал в кузове грузовика на табачную фабрику, заготовитель выдавал нам квитанцию, выписанную намусоленным карандашом, в которой было сказано, сколько килограммов мы сдали и какого качества. Деньги выплачивались лишь в середине декабря, ближе к Рождеству. На эти табачные деньги по-

купалось что-нибудь на Рождество, остальное клали на сберкнижку. За зиму руки белели, и примерно с марта бабушка Анна уже снова хлопотала над рассадой, складывала мешковину и веревки, прикидывая, что еще следовало докупить. Не потому ли она сама походила на высушенный лист табака, хрупкий и коричневый, из которого выветрилась вся жизнь?

Война

В Базаре в конце 60-х еще жили люди, которые помнили войны. Одни помнили Первую мировую, другие – Вторую. Ковалиха помнила обе. В Первую мировую Ковалихе было четырнадцать лет, а во Вторую – сорок. А я помню Ковалиху и помню ее войны по ее рассказам. Старейшая цепкая память Ковалихи направляла нить ее воспоминаний, ее кузница выдыхала черный воздух наружу. Но когда навесят на входные двери замок – этот черный воздух выветрится и Ковалихина память станет моей.

В 1968 году колонны советских войск направлялись через Базар к западной границе. Возможно, колонны специально пускали по сельским дорогам, чтобы не привлекать внимания. Свежеокрашенные зеленые машины тянули зачехленные орудия. А в кабине рядом с водителем, как правило, сидел офицер в полевой форме. Ковалиха с высоты своего холма увидела: дело идет к войне. Наш Федя служил на Урале. Я подумал, что когда у нас на холме начнется война – Федя

на Урале все равно будет знать, что у нас и как. Ковалиха сказала, что точно так же направлялась артиллерия по тракту перед войной за Австрию. Бабушка всполошилась, что надо загнать кур, ведь неизвестно, сколько войска будет ехать по шляху, и военные машины с орудиями раздавят всю птицу. Потом мы ужинали при зажженной коптилке, фитиль еле торчал на полсантиметра. На всю хату едко пахло керосином, а из печки, сквозь щель чугунной дверцы, скакал по стенам отсвет пламени. Бабушка Анна молилась о здравии, поминая всех живущих, выглядывая сквозь оконные занавески, кто из соседей еще не спит.

С утра бабушка Анна, будя меня, рассказывала, что армия целую ночь грохотала по тракту, а еще Ковалихина корова должна отелиться, но теленок никак не идет, поэтому уже с утра ветврач и мужики хлопчут в сарае. И если я быстро умоюсь и позавтракаю, то еще смогу увидеть, как вынимают теленка из нутра Ковалихиной коровы. Я очень хотел еще накануне подкормить сахаром муравьев, но отел Ковалихиной коровы пропустить никак не мог. А еще, сказала бабушка, она должна идти к Мельничке забрать для деда двух голубей (им уже две недели), пока не началась война. Старый Мельник играл на свадьбах на бубне, а два его сына служили в армии, как и наш Федя. У Мельников была голубятня – одна или две пары. Как только очередному голубиному приплоду исполнялось несколько недель, Мельничка звала бабушку к себе. Приставив лестницу к голубятне, вынимала из гнезда

двух молоденьких голубей, которые еще не летали, и передавала их бабушке. Та клала в подол и несла домой. При мне шеи молодым голубям никогда не сворачивали. Поскольку однажды я увидел, как бабушка, сщеживая голубиную кровь, ломала птицам, как стебли, шеи, а они корчились в конвульсиях в полированной белой миске. Меня потом долго рвало у куста смородины.

Когда дед кашлял, его лицо становилось чернильного цвета. Откашлявшись, он сплевывал в ведро с опилками и перемешивал все кухонной лопаткой. Кто-то посоветовал ему пить бульон из молоденьких голубей – вот почему бабушка носила голубей от Мельнички. И я пошел к Ковалихе. Бабушка называла Ковалиху «нанашка»². Ковалихины глаза с полуопущенными веками прикрывались пленкой, словно у чубатой курицы, которую в прошлом году сбила на дороге машина. Ковалиха никогда не снимала вышитой сорочки и *кабата*³, что купила перед своим замужеством в Чорткове еще при Австрии.

Именно в этот день дед должен был ехать за изразцами для печи, а Ковалихина корова, в пене и без сил, лежала возле кузницы. Ковалиха с Марией держали ее за голову, в то время как ветеринар уже распутывал от веревок тонкие ножки теленка, который порывался встать.

В то утро, когда родился Ковалихин теленок, дед все-таки

² Крестная мать.

³ Кофта.

поехал бортовой машиной за изразцами. Старую печь выложил вскоре после моего рождения печник, которого привез дед. Она была постоянным предметом распрей между дедом и бабушкой. «Партач», – говорила бабушка, и ее татарский профиль рассекал ятаганом пар и дым, что валили из всех трещин и дыр покрашенной зеленоватой краской с синими колокольчиками печи. Поэтому когда Ковалихина корова и Мельниковы голуби стали для нас с бабушкой главным событием, дед ехал на Буковину в село, где делали изразцы.

«Хлебовоз, по графику, приедет с полудня, – прикидывал я. – Это если в Павшовке водитель не будет пить пиво или по дороге ничего не сломается». Очередь из стариков и подростков могла простоять хоть до вечера, но без хлеба никто домой не возвращался. Бабушка Анна, собираясь в поле на Рудку, оставила 54 копейки на столешнице с порезанной там и сям клеенкой, сказала: купи два черных хлеба и один белый. Мы вместе вышли из хаты, и я побежал, зажимая в кулаке мелочь.

Два черных хлеба и один белый

В одном месте Джуринка была перегорожена дамбой, и там мы всегда купались. Берега речки зеленели травой, зарослями будяков и полыни; там попискивали полевые мыши, а тучищи насекомых, летая над речкой, дырявили воздух. Выше, в направлении Павшовки, скалила свои розо-

вые десны заброшенная каменоломня, а на полевой дороге в сторону Травны грузовики поднимали облако пыли, которая медленно оседала серым маревом. Помятуя о хлебе, я разделся до трусов и майки, зажимая в кулаке копейки. Оставлять деньги на берегу в траве было небезопасно, и я решил купаться с ними. На прибрежных камышах сидели, раскачиваясь, полевые жаворонки, несколько аистов ходило вдоль берега, выискивая лягушек, а зеленая вода Джуринки, нагрвшись, пахла коровьим молоком. Нас было трое (никто из нас не умел плавать), мы держались за кусты, молотя что было силы ногами и рассекая воду сложенными, как плавники, тоненькими ладонями. Мы представляли себя рыбами, Джуринка текла себе вдоль дороги. Я забыл о хлебе, о деньгах в кулаке, как и про обещание бабушке Анне не ходить купаться на речку. Я знал, что хлебовоз будет ехать по трассе, я его точно увижу и тогда, выкрутив наспех майку и трусы, побегу за ним покупать два черных хлеба и один белый. Хлебовоза не было видно – и мы лежали себе в траве и смотрели в небо, по которому плыли перины летних облаков; порой куриное перо дырявого облачка останавливалось на миг над нами, заслоня солнце, и тотчас гусиной кожей покрывались наши тела, а из носа текла струйка зеленой воды. Я все время держал кулак сжатым, будучи уверен, что копейки у меня надежно спрятаны. И только раскрыв ладонь, увидел грязную ленточку, как воспоминание, оставленное унесенными Джуринкой копейками, которые, возможно, проглотила ры-

ба. Мне хотелось плакать, ведь хлебовоз уже мчал к селу, минуя кирпичный завод и меня с Джуриной. Я видел, как машина, преодолев бугор, повезла и два моих черных хлеба и один белый, которые теперь я не мог купить. Самое скверное, что бабушка Анна узнает, что я купался и посеял деньги, а к ужину, когда дед вернется с буковинскими изразцами и вместе с шофером станет запивать магарыч, в доме не окажется ни крошки хлеба! И в этом виноват я.

На взгорке я увидел старую Ковалиху, она смотрела на наш двор – значит, изразцы привезли. Я спрятался за сложенные и накрытые от дождя мешковиной изразцы. Терпеливо ждал, пока кто-нибудь выйдет из хаты. Но никто не выходил. Тогда, набравшись смелости, я зашел в хату. Дед, бабушка и шофер о чем-то разговаривали. Шофер намазывал смалец на черный ржаной ломоть, а бабушка, развеселившаяся от привезенных изразцов и самогона, даже не заикнулась о хлебе и деньгах. Она, накладывая мне в миску жареной картошки, рассказывала, что наши куры, возвращаясь через Ковалихину канаву домой, перелетали дорогу. Ни дед, ни шофер не знали этой приметы...

Фердинанд Шевалье де Респалдиза

Эндрю Созанский из Оттавы сдержал слово и прислал в желтом конверте воспоминания о своей семье, генеалогическое древо, свидетельство о смерти Матильды Респалдизы,

подписанное юристом Чарльзом Бохенским из Кракова, датированное 1948 годом, а также рапорт командования уланского полка, датированный 23 августа 1918 года, – о награждении подполковника Фердинанда Респалдизы, поскольку он как *«глава сельскохозяйственного отдела в тяжелых обстоятельствах проявил неутомимое упорство и чрезвычайную инициативу и благодаря абсолютной преданности своим обязанностям внес огромный вклад в отношении подъема экономической эффективности провинции в интересах государства и удовлетворения военных нужд. Этот необыкновенный офицер достоин наивысшего отличия»*. Неизвестно, успел ли на это донесение кто-нибудь отреагировать. В октябре-ноябре 1918 года Австро-Венгрия распалась. Эндрию также прислал с этими бумагами пожелтевшую фотографию, на которой изображен мул, запряженный в тяжелую повозку с огромными металлическими колесами, какое-то здание, обвитое плющом. Мул наполовину закрывает парня в кепке. На обратной стороне фото чьей-то рукой написано *Vazar*.

Как я ни пытался представить Базар начала 20-х или даже Базар 30-х, мне всегда не хватало не просто деталей моего воображения, а некоего визуального компонента, исторически и предметно правдивого, из той эпохи. Пятнадцать фотографий, датированных 1925 годом, которые, отсканировав, переслал мне Эндрию Созанский, просто раскрыли увиденные образы господского поместья, семейства Респалдиз,

их пса Сфинкса.

В 20-х годах Фердинанд Респалдиза (во всяком случае, если полагаться на фотографии) выглядел подтянутым, с оливковым взглядом испанских глаз, с усами, как и надлежало кавалеристу. Одет в безукоризненный темный пиджак, в непрременных галифе, белая рубашка с бабочкой, с манжетами на запонках. Утонченные манеры, светский кавалер под шестьдесят. На другой фотографии Фердинанд и Матильда сидят в мягких креслах, над ними – картина в позолоченной раме (какой-то парусник). Фердинанд при галстукке, на этот раз на нем – темный костюм в белую полоску, Матильда в шелковом платье, с наброшенным на левое плечо меховым палантином, в левой руке – сигарета. Фердинанд смотрит мимо фотоаппарата, немного наискосок, а Матильда – прямо, она немного кокетничает с фотографом, как-то поособому с ним заигрывает. Респалдизы, похоже, собираются в гости или же возвратились откуда-то, возможно, даже из Малых Залещиков, где проживала старшая Матильдина сестра Ева вместе с супругом – графом Фелицианом Мор-Корытовским и сыном Эразмом. Корытовские владели большими поместьями, которые их сын Эразм после смерти своего отца растранижит во Львове на проститутток и развлечения. А после войны будет работать в Британии (как пишет Анджей Созанский – «на телеграфных столбах»).

Полковник польской кавалерии Фердинанд Шевалье де Респалдиза каждый год, как обычно, ранней весной стоял

возле самого большого окна своего дома, окруженного парком и садом, и смотрел, как лакей Антох и конюх Михал отстреливают по его приказу ворон. Больше всего не любил Фердинанд в этих краях ворон. Тут, в Восточной Галичине, пронзительные мартовские ветры раскачивали дом и Фердинанда, а слизываемый этими ветрами снег, казалось, примерз навечно к земле. В начале марта вороны справляли свою воронью свадьбу, они мостили гнезда в кронах парковых деревьев, не обращая внимания на Фердинанда в окне и даже на Антоха и Михала с ружьями наизготове. Антох, Фердинандов лакей, ни в какой армии не служил, поэтому ружье держал словно супницу, налегке, но немного опасаясь. Фердинанд, кадровый военный, это видел. Конюх Михал, бывший улан расквартированного в Садгоре восьмого уланского полка, метко сбивал с деревьев птиц, и они падали, кровавая уже подтаявший мартовский снег. Антох вскоре исчез из поля зрения Фердинанда, а Михал все еще собирал убитых ворон и закапывал в примерзшую землю в конце сада.

Фердинанд также видел, как стаи ворон, испуганных выстрелами, перелетали Джуринку и прятались в серых снеговых тучах.

После того как Михал убрал всех мертвых ворон, Фердинанд отошел от окна. Старший конюх возвращался в свои конюшни, где содержались 12 пар чистокровных скакунов. На них Фердинанд с женой выезжали в гости за пределы Базара.

Михал всегда запрягал по две пары: каштановых к каштановым, а вороных – к вороным.

На фотографиях 1925 года Фердинанд – в клетчатых английских галифе, плотно прилегающих к лодыжкам блестящих сапогах, с тростью, при бабочке, в черной фуражке; рядом с ним – Матильда. Оба сидят в плетеных креслах на веранде дома, Матильда – с зонтиком, их гость – прямо на ступеньках. Деревянная четырехколесная бричка на две персоны, в которую запряжен серый в яблоках жеребец. В бричке устроились две барышни, тоже с зонтиками, одетые так, словно это поздняя осень или ранняя весна. Видно, что Респалдизы и гость о чем-то беседуют с барышнями, в чьих чертах угадываются Бланка Респалдиза, дочь хозяев фольварка, и, возможно, Люля Козебродская. Бричка вот-вот отъедет, и Респалдизы вместе с гостем пойдут обедать.

Респалдизы поженились в 1907 году. Фердинанд, имевший титул маркиза, и Матильда Богуцкая из Больших Черноконцев, за которой он получил в приданое два фольварка в селе Базар Чортковского уезда: Базар-один – верхний фольварк, и Базар-два – нижний. Он поселится в Базаре, а со временем сам ляжет в базарскую землю. Матильда Богуцкая происходила из семьи Владислава Богуцкого, который состоял в браке с Марианной Волянкой. У Матильды был брат Александр и две сестры – Ева и Мария. Ева сочеталась с Фелицианом, графом Мор-Корытовским, и проживала в усадьбе в Малых Залещиках. Мария же была гра-

финеи Козебродской. Александр никогда не состоял в браке. Богуцкие были большими землевладельцами, шляхтой и укоренились в Восточной Галичине издавна.

Фердинанд никогда не был в Испании, в стране, где зимы теплые и мягкие, словно мякоть апельсина, ведь он, сын капитана австрийской армии, пришел в этот мир уже законным гражданином Австро-Венгрии. В списках выпускников Военной академии Марии Терезии в Винер-Нойштадт (*Die Theresianische Militar-akademie zu Wiener-Neustadt*) указано, что Фердинанд Шевалье де Респалдиза родился 22 июля 1871 года в Линце. В 1888 году завершил обучение в военной школе *Millitar Oberrealschullezu Machrisch – Wiesskierche*. Военную службу в чине лейтенанта начал в 13-м Богемском драгунском полку принца Евгения Савойского – 18 августа 1891 года.

Кавалерия Австро-Венгрии подразделялась на драгунов, уланов и гусаров. В драгунах служили австрийцы и чехи, в уланах – австрийцы и славяне (в частности, украинцы или поляки), хорваты, словенцы, а в гусарах – исключительно венгры. Эти полки перемещались согласно имперской военной доктрине, а офицеры меняли места своей службы. Наверное, сегодня трудно установить все перемещения Фердинанда Респалдизы. Самые достоверные данные содержатся в архивах австрийской армии и в тогдашней прессе, которая подробно информировала читателей о разных событиях в мире и стране. Газета «*Dziennik Polski*» за 1904 год печатает

тает списки гостей города Львова (в то время такие списки публиковались в прессе). В декабре того года в числе прочих именитых гостей города значится и Фердинанд Респалдиза из Жовквы, который остановился в отеле «Жорж». В Жовкве тогда был расквартирован 15-й драгунский полк эрцгерцога Иосифа. Что мог делать в декабре, в предрождественские дни молодой офицер? В конце концов во Львове было чем заняться, там всегда есть чем заняться. А уже в 1905 году в «Gazecie Lwowskiej» был опубликован список офицеров, повышенных в воинских званиях; Фердинанд Респалдиза становится ротмистром кавалерии 1 класса. В этом же номере – большой репортаж о чествовании памяти Фридриха Шиллера. Сообщали, что в Вене шестьдесят тысяч детей отмечали столетие со дня смерти поэта. А еще – подробный репортаж о русско-японской войне, обещание продолжения романа Владислава Реймонта «Крестьяне», реклама от фирмы Norddeutscher Lloyd путешествий в США, Канаду, Бразилию, Австралию, Японию и Китай. Сообщалось, что иностранные газеты «Figaro», «Daily Cronicle», «Frankfurter Zeitung» и «Новое Время» можно заказать в пассаже Гаусмана. Во львовских театрах ставили пьесы Горького и Д'Аннунцио. Газета публиковала курсы валют и ценных бумаг, заметку о вандализме над памятником Адаму Мицкевичу и рекламу домашних клозетов.

Полк Фердинанда стоял в провинциальном Чорткове, в котором время от времени устраивались какие-то развлече-

ния для офицеров; съезжались и местные хозяева фольварков, сходились городские урядники. Польские благородные семейства под австрийской короной не двигались с насиженных галицких мест, поэтому встреча австрийского офицера с польской шляхтянкой – закономерная случайность.

Перед Первой мировой войной, в 1913 году – в той же «Gazecie Lwowskiej» было упомянуто судебное дело Фердинанда и Матильды Респалдиз, которые, как сообщала газета, задолжали банку 4488 крон, а их дело в суде должен был представлять Соломон Виттлин. Такие объявления часто публиковались в тогдашней прессе: о судебной распродаже имущества или о судебных делах, касавшихся разнообразнейших житейских историй и авантюр.

Первая мировая война с 1914 года до 1917-го была расписана в послужном списке Фердинанда примерно так: «С 1.8.1914 по 24.1.1915 назначен в Отдел Военной Комендатуры при Общем Штабе, а также (в Отдел) Военной Комендатуры Лемберга, а с 25.1.1915 по 16.3.1917 в Отдел XXV Корпуса при Общем Штабе. С 20.3.1917 при Комендатуре сельскохозяйственных отраслей как глава сельскохозяйственного отдела». Очевидно, что офицерский опыт при австрийских военных штабах пригодился и для новоиспеченного государства Второй Речи Посполитой, поскольку с 1918 года подполковник Фердинанд Респалдиза в Организации Команды Рольничей в Восточной Галичине занимался внедрением «вспашки моторовой». Именно перед ним было

поставлено задание модернизировать сельское хозяйство в Восточной Галичине, наладить в этом деле отношения с Чехией и Венгрией.

Во время украинско-польской войны полковник Респалдиза подает рапорт (июнь 1919 года) шефу Генерального штаба Войска Польского о том, что на территориях южного Покутья насчитывается около 8000 солдат-украинцев. Естественно, что австрийский офицер, состоящий в браке с польской шляхтянкой, за которой он получил немалое приданое, – на стороне Речи Посполитой и ее политических и военных интересов. В 1919 году подполковник Респалдиза переходит на дипломатическую службу, в процессе восстановления своей государственности новая родина Респалдизы использует весь его военный опыт и назначает сперва военным атташе в Бухаресте, а затем – в Стокгольме. В 20-е годы Фердинанд окончательно оседает в Базаре, занимаясь хозяйством и семейными делами.

В 1939 году Респалдизы никуда не выехали, хотя в газетах, которые они выписывали, было предчувствие войны, но короткой и победоносной для Речи Посполитой. Даже во Львове, где Респалдизы владели виллой, еще в первые сентябрьские дни, когда немцы уже атаковали Гданьск и западные границы Польши, проводились Тарги Восточные. А британский консул с балкона Ратуши уверял львовян в союзнических обязательствах Англии относительно Польши. В Базаре, в поместье Респалдиз, очевидно, доверились провиде-

нию, поскольку Матильда, супруга Фердинанда, не могла себе позволить куда-либо отправиться с парализованным семидесятилетним мужем. О причинах Фердинандовой болезни, подкосившей кадрового военного, австрийского драгуна и польского военного атташе, который прошел Первую мировую войну и последующие войны 1919-го и 1920 годов, могли бы сообщить врачи, к которым обращался обреченный на неподвижность Фердинанд, но об этом можно строить лишь догадки.

Под Киевом еще живет родная сестра моего деда – Мария. Я попросил, чтобы записали ее воспоминания о Базаре 30-х годов и Респалдизах. По словам сестры деда (а ей пересказывал Михаил Кардинал, ее отец, мой прадед), однажды на фольварк приехали цыгане. Было их немало. Откуда они приехали и почему именно к Респалдизам – никто не помнит. Цыгане стали табором. На следующий день к Фердинанду пришла старая цыганка, подметая юбкой дорожку, ведущую к господскому дому, с просьбой, чтобы он одарил их и накормил лошадей. Фердинанд рассердился, бросил в нее тростью и приказал прогнать ее и весь цыганский табор. Цыгане поспешно убрались, а вскоре Фердинанда разбил паралич. Поэтому в 1939 году Фердинанд Респалдиза лишь бесильно наблюдал за всем, что происходило в его фольварке, уже никак не влияя на события.

Бланка

Бланка Респалдиза родилась в Базаре в 1909 году. Ее легкое испанское имя совсем не сочеталось с базарскими холмами и долинами. В этом зеленом воздухе витали Параски, Текли, Анны, Явдохи, Марии, Ядвиги, Хаи – они мирно уживались среди хат, магазинчиков, церкви, читальни, среди господских полей, крестьянских земель, колонии, арендаторов. На верхнем фольварке, в доме с колоннами и большими окнами, украшенном живой изгородью и разноцветьем, проходило детство Бланки. Пышный особняк окружали сосны и фруктовый сад. Дом был одноэтажный, но просторный, в архитектонике его смешались стили греческих храмов. Центральная часть – портик с колоннами: две колонны по углам и две симметрично по центру поддерживали этот массивный портик над тремя парадными дверями. А три пары окон с пилястрами так же симметрично удлиняли дом в обе стороны. Дорожки были выложены плиткой. В доме имелся повар, служанки, в самом фольварке – около 40 работников.

Респалдизы были, кроме того, еще владельцами виллы во Львове на улице 29 Ноября, расположенной в центральной части города. По воспоминаниям дедовой сестры, Бланка была непоседой и часто ездила по базарским окрестностям в своей бричке и даже верхом. Фердинанд просил моего прадеда, чтобы его старший сын Николай сопровождал

юнюю Бланку в этих конных прогулках. На фотографиях за 1925 год Бланка – посреди живой изгороди с бультерьером Сфинксом, который как раз перепрыгивает эту изгородь. Бланка в белом платье. Лето проступает даже из пожелтевшей фотографии, которая, победив время, побывала во Львове, затем пролежала в семейном альбоме Созанских в Оттаве и теперь в электронном виде хранится в моем компьютере. На другой фотографии Бланка в комнате с Фердинандом и, очевидно, с Людвигой Козебродской – своей двоюродной сестрой – и тем же Сфинксом. Фердинанд – в клетчатых штанах, в клетчатом твидовом пиджаке и при бабочке (какой-то английский колониальный стиль). Его испанский нос изогнут, как коготь орла (такой же нос у Бланки, менее изогнутый, но видно, что папин). Все трое отражаются в зеркале, что дает возможность увидеть их в профиль, а также вполборота, и только Сфинкс смотрит прямо в объектив. Имя Бланки я случайно увидел в списке постояльцев виллы «Скаутов» в местности Рабка-Слонне за 1926 год. Записана она как Бланка Респалдиза герба Лозанских. Я искал этих Лозанских, чтобы уяснить, почему Бланка записана именно Лозанской, но эти поиски ни к чему не привели. Просто произошла ошибка – наверняка должно быть «Созанских», поскольку именно Анджей Гелиодор Антоний Созанский из герба Корчак, ротмистр 14-го полка уланов Язловецких, станет в будущем мужем Бланки. С ним она обвенчается во Львове в костеле Иезуитов 3 апреля 1932 года.

В 1933 году у молодой пары родится сын, которого тоже назовут Анджеем. По воспоминаниям сестры деда – Марии, Респалдизы не одобряли выбор своей единственной дочери. Они будто бы подыскали Бланке достойную, на их взгляд, партию – некоего господина Перуцкого. Но из этого ничего не вышло, и Матильда Респалдиза очень разгневалась на Бланку. Анджей Гелиодор Антоний Созанский, кадровый офицер Войска Польского, последний командир своего полка, принимал участие в 1939 году в битве над Бзурой, в обороне Варшавы, а после капитуляции находился в немецком лагере для военнопленных в Мурнау. В 1945 году он оказался в британской зоне, какое-то время жил в Британии, а оттуда выехал в Канаду. По воспоминаниям Анджея Созанского, сына Бланки и Анджея Гелиодора Антония, сразу после его рождения Бланка заболела рассеянным склерозом. Он помнит Бланку в больнице на Лычаковской, куда его приводили увидеться с мамой. Бланка умерла во Львове в 1942 году, в возрасте 33 лет.

Матильда

Матильда Респалдиза (из Богуцких, герб Слеповрон) родилась в 1882 году в Черноконецкой Воле, ее родителями были Владислав Теофил Томаш Богуцкий (из Богут герба Слеповрон) и мать – Марианна Волянская (герба Пшияцул). Матильда умерла в 1946 году в местечке Канчуга. Городок

находился недалеко от Ярославла и Ланьцута, совсем недалеко от села Дубно, в котором еще со времен Галиции и Лодомерии проживали Махно.

На одной из фотографий, из серии 1925 года, семейство Респалдиза – за обеденным столом: Фердинанд, какая-то пожилая дама, Бланка и Матильда, у стола стоит горничная в белом накрахмаленном фартуке и блузке с тарелкой в руке. Рядом с ней парень лет 15 в кителе с золотыми блестящими пуговицами. Похоже, он также прислуживает. Интересна сама комната. Возможно, Респалдизы обедали семьей именно в этой небольшой столовой. Изразцовая печь, буфет, на котором виднеется бутылка дорогого коньяка, стол застелен белой скатертью, сервизные тарелки, приборы. Матильда с рюмочкой водки, посреди стола – высокая бутылка. Непринужденная и простая атмосфера. Рассматривая детали этой фотографии, я вспомнил высказывание Шандора Марай о том, что *мы думали, будто всего лишь обедаем, а мы проживали историю*. На этой фотографии – настоящая история, и она проступает даже в самой композиции обедающих, кто как сидит и кто где стоит. Никаких случайностей, все места заполнены согласно установленному регламенту: обедающие, – обедают, а те, кто прислуживает, – прислуживают.

Польша в очередной раз распадалась, прекращая свое господство в Восточной Галичине. В Базаре разрушали родовое гнездо и фольварки Респалдиз, бывшие слуги и расквартированные красноармейцы тащили все что могли. Спер-

ва конфисковали чистокровных скакунов для нужд Красной армии. Потом потрошили кур, доили голодных коров, а потом их резали, разводя перед домом костры из срубленных деревьев. По ночам на огне шипело мясо, а красные языки пламени лизали стены и окна дома. Солдаты потрошили шкафы с костюмами Фердинанда и Матильдиными платьями, которые баре заказывали у львовских портных или покупали в пассажах Львова. Кто-то присвоил Фердинандов мундир полковника польской кавалерии: галифе и полковничью куртку с белыми вензелями петлиц. Матильда знала, что ей и Фердинанду необходимо спешно бросить свой дом на разграбление. Поэтому она упаковала лишь самое необходимое из одежды для Фердинанда и для себя, а из драгоценностей оставила при себе лишь обручальные кольца. В последний день своего пребывания в фольварке кто-то из новой власти вытащил патефон, поставил пластинку с вальсами Шопена, и бойцы Красной армии, развлекаясь, пригласили на танец Матильду Борецкую Респалдизу. А в воздухе кружились куриные перья перед парадным входом в дом, их топтали военные ботинки красноармейцев и элегантные туфельки Матильды Борецкой герба Слеповрон.

Что чувствовали Респалдизы, когда смотрели на руины своей жизни? Когда ты не можешь защититься от этого разрушения? Когда в твоём доме все развалено, и даже серебряная кофейная ложечка, привезенная из Вены, торчит из кармана твоего «кавалера», который неизвестно по какому

праву ее присвоил.

Матильда Борецкая происходила по линии своей матери из рода Волянских. Волянские были владельцами села Базар Чортковского уезда с конца XVII века и навсегда остались в Базаре, построив на кладбище часовню для всей семьи.

Где-то вблизи этой часовни зимой 1941 года похоронят и полковника кавалерии Фердинанда Шевалье де Респалдизу. Повезут на крестьянских санях из хаты Ивана Шевчука, в которой Фердинанд проживет последние дни своей земной жизни, а похоронная процессия будет состоять из греко-католического священника Стефана Ницовича, еще из кого-то, кто тогда приехал на этих санях, и Матильды Борецкой Респалдизы. Никаких долженствовавших полковнику Респалдизе воинских почестей не было, похоронную процессию дополняли разве что кладбищенские вороны, которых он так не любил при жизни.

Альбин Шмуэль

В Базаре проживало не так уж много евреев – всего одиннадцать семейств. И количество этих семейств никогда не было раз и навсегда установившимся. Кто-то выезжал из села, а кто-то прибывался к нему. Евреи держали корчмы и магазинчики, выменивали то да се, арендовали сад. Придерживаясь Моисеевого закона, читали Тору, в субботу не работали и, пребывая в меньшинстве, старались с местным людом

не конфликтовать. Но особенной приязни между украинцами и евреями не было, хотя и вражды тоже. Несколько раз они покидали Базар. В 1915 году евреи выехали вместе с отступающей австрийской армией, оставив дома и имущество, которое разобрало для своих нужд русское войско. А в 1917 году евреи вернулись и застали развалины. Кто-то подался в ближайшие местечки – Чортков, Бучач или Толстое, а кто-то начал все заново в Базаре. В 1939 году евреи выехали из Базара навсегда (говорили, что в Чортков). Наверное, большинство находилось в чортковском гетто, некоторые были расстреляны в Черном лесу, а оставшихся вывезли в лагерь смерти в Белжец.

В Чорткове Шмуэль Альбин (который родился в Базаре в 1897 году) имел врачебную практику, жил на улице Мицкевича, 28. В телефонной книге Галичины за 1939 год его телефонный номер был 1-56. В 1942 году он погиб в возрасте 45 лет. Вероятно, был расстрелян в Черном лесу, где немцы собрали представителей еврейской общины Чорткова, которые и стали первыми чортковскими жертвами.

Федя Кардинал

В Базаре леса были давно вырублены, остались от них только названия – Дубина, Гай. Вот почему базарские поля и Джуринка не имели защиты ни от ветров, налетавших с востока, ни от снегов, которые засыпали и заметали доро-

ги. Ближайший лес назывался Чигор, туда обитатели Базара ходили, когда начинались первые заморозки, чтобы нарвать подмороженного терна, из которого они делали вино и лекарство для желудка. Дрова покупали у заезжих шоферов, которые иногда шастали своими грузовиками с распиленным на продажу грабом или ехали к Беремьянам рубить лес и таким образом зарабатывали машину-две на зиму.

После армии наш Федя поехал в Пермский край, на Урал, где служил последние полтора года. Примерно в конце октября сформировалась бригада из местных, так как у кого-то была договоренность в одном лесхозе на Урале. И бригада из восьми человек ехала на несколько месяцев с пересадкой в Москве, а там из Перми – до какого-то райцентра. За эти несколько месяцев мужики зарабатывали неплохие деньги и несколько кубов леса. Бабушка подозревала, что Федя на Урале нашел себе какую-нибудь московку, поэтому его так тянет туда. Когда мы спросили Ковалиху, то оказалось, что она ни о каком Урале никогда не слышала. Но причины были не только в том, о чем догадывалась бабушка Анна. Федя был шофером третьего класса, окончил бучацкую шоферскую школу, в армии служил в автомобильном батальоне. А по возвращении работать в колхозе водителем было непросто, машин на всех не хватало, пришлось бы начинать подменным.

Три месяца прошли быстро, а еще через два из Чорткова привезли заработанное Федей дерево – 10 кубов, как го-

ворил дед. Дерево везли из Пермского края долго, поскольку железной дорогой получалось доставить уральский лес только до Джурина (где находилась какая-никакая станция, и несколько товарных вагонов можно было загнать на дополнительную тупиковую ветку). А из Джурина надо было уже самому забирать дерево. А кто мог знать, какие кубы кому принадлежат? Те восьмеро, рубившие зимой 1969 года лес в пермской тайге, решили, что уже на месте разберутся с деревом и решат, кому какое достанется. Колхозные машины, специально заказанные для перевозки, за день доставили крепкие стволы пермской хвои в Базар, и разделена она была на восемь одинаковых штабелей. Бабушка сначала выслала деда, чтобы он посмотрел, справедливо ли поделили. Я вообще крутился возле этой древесины почти все время, забыв холм, Ковалиху, муравьев и наших кур. Заработанное Федей дерево решено было продать, да и купцы, прослышав о невиданной партии качественного материала, начали едва ли не ежедневно наезжать и прицениваться: многие из них строились, а хорошее дерево ценилось. На все время, пока стволы ждали продажи, я стал их сторожем.

На вырученные деньги Федя купил себе два костюма – темный и светлый, несколько лавсановых рубашек, а остальные деньги были положены на сберегательную книжку, – как заметила бабушка, когда-нибудь понадобятся на свадьбу. Со временем Федю назначили шофером старого *газона*⁴, кото-

⁴ Машина Горьковского автомобильного завода.

рый больше ломался, чем ездил. Запчасти к нему невозможно было достать, Федя приходил вечером, весь перемазанный черным солидолом, и руки его пахли бензином. И почти каждое воскресенье он надевал лавсановую рубашку, темный костюм, брился, обливался одеколоном «Русский лес» и вместе со своими друзьями-музыкантами ехал играть на свадьбы. У него был перламутровый немецкий баян в футляре, обитом с внутренней стороны зеленым мягким бархатом. Этот баян был самым лучшим в окрестностях, все баянисты это признавали и неоднократно предлагали неплохие деньги за него. Баян блеснул перламутром и непривычно чисто звучал, имел несколько регистров-переключателей, которыми можно было создать разные версии звуковой гаммы. В Федином горле жил теноровый голос, который он полоскал самогоном и сигаретным дымом. (В конце жизни он начнет петь в церковном хоре, даже забросив свой баян, не захочет отступить от музыки, и она будет пробиваться сквозь громыание мотора его колхозного грузовика.)

В доме моего деда часто устраивались концерты с дымом и самогоном, особенно я любил, когда Федя с Иваном Березовским, аккордеонистом, немного выпив, вынимали баян и аккордеон и, словно соревнуясь, импровизировали, разрывая своими мехами воздух. Они начинали с известных свадебных мелодий, а потом вытворяли нечто похожее на джаз. Это сочетание баяна с аккордеоном, эти разные тональности звучания наполняли вымазанные известью стены с изразцо-

вой печкой, дверными косяками с занавесками. Все раскачивалось и ходило ходуном, закусывалось квашеными огурцами с медом, луком и молодым чесноком. В такие минуты даже муравьи и куницы не наведывались к нам, а куры сонно склевывали летнюю, переполненную густыми запахами спелых слив тишину. И даже к Ковалихе долетали эти рваные музыкальные ритмы, тревожа ее старческий и беспокойный сон. Она как-то сказала, что у Кардиналов со двора выливалась музыка, как дождь, что выстукивал по заржавевшим водостокам ее хаты. И каждое воскресенье у них свое *весёле*.

Федя, кроме шоферской профессии и баяна, по-особенному любил растения и зверей. Когда весной начинали проклевываться из высиженных яиц *цепенета*, он разговаривал с ними, грел своим ртом желтый пух крыльев и целовал их в клювики. Не позволял сажать пса на цепь, поэтому у всех наших шариков были глубокие и добрые глаза. Разговаривал с кролями, ругал старую крольчиху, которая поедала своих новорожденных крольчат. Он любовался цветками картошки, слив, грушек и яблонь, он был знатоком наших муравьев и наших куниц и сам был похож на какой-то тонкий побег, который торчал за рулем грузовика. Он возил с поля пшеницу, играл на свадьбах, пил самогон, курил с утра дешевые и крепкие сигареты, а если их не хватало, то, разминая высушенный табак, делал самокрутки из газеты-районки.

Я помню, как он обгорел, когда в его *газоне* замкнуло проводку, а он, спасая машину, сбросил с себя фуфайку и, ста-

раясь потушить пламя в моторе, обжег руки до самых локтей и лицо. А когда мы его, перебинтованного, увидели в больнице, спрашивал, отделили ли крольчиху от крольчат и есть ли у нее вода, ведь если забыли, то из-за жажды она снова их съест.

Я приехал из Нью-Йорка и застал его в агонии, а через несколько дней он умер. За хатой стоял заброшенный *газон*, доставшийся ему от колхоза, – обложенный кукурузой, а на крыше кабины грелись осенние куры.

Куры уже снесли белые яйца смерти.

С начала сентября дожди не навевывались в Слободку, и на улицах в пыли, как и прежде, валялись псы, пахло сливами и грушами. Облака, словно марля, сквозь которую процеживают коровье молоко, висели над селом, продырявленные ветрами. Федя уже не мог говорить, он поднимал руки, словно хватался за невидимую лестницу своей смерти и все никак не доставал до нее, она еще была высока для него. Когда он меня увидел, в уголках глаз появились слезы, а я держал его высохшую, словно стебель, руку. Возможно, он уже видел ангелов. Когда его похоронили, светило сентябрьское солнце, и кладбищенская дорога, устланная пылью, смягчала ему последний путь.

Базар. Возвращение

Никогда меня так не влекла история села Базар, как осе-

нию 2012 года, когда я с местным священником стоял около часовни Волянских. Священник этот был не здешний уроженец, но неплохой знаток базарской истории, во всяком случае, об отце Василии Баревиче и скульпторе Сергее Литвиненко слышал и знал. Мы продирались сквозь кладбищенское разнотравье и колючие кусты, полуметровые стебли крапивы, чтобы, обогнув разрушенную часовню, прочесть надпись на кресте отца Баревича. А про Сергея Литвиненко, изготовившего по заказу базарской общины Архангела Михаила памятник Сечевым стрельцам, который установили в 1935 году, а подорвали сразу после войны, мы поговорили в связи с Нью-Йорком. Литвиненко жил в Нью-Йорке.

От этого памятника осталась часть фигуры архангела и, кажется, крыло. Кто-то все это перепрятывал до нынешних дней. И остатки Литвиненковой скульптуры вмуровали рядом с новым памятником, непритязательным по замыслу и художественному исполнению.

Тогда, в середине сентября, стояла сухая погода, а на разбитых сельских дорогах с ямами, наполненными мягкой пылью, блаженствовали куры. Они загребали крыльями пыль, щедро посыпая себя, может, так избавлялись от всяких насекомых в перьях, а может, просто грелись. Повсюду пахло только что выкопанной картошкой. Куры, всполошившись, убегали с дороги, когда, огибая ямы, ехала какая-нибудь машина, – так успевали удрать.

Во дворе, ближе к разошедшимся воротам, я заметил, что

погреб разваливается, камни расползаются и покосились. Погреб – все, что осталось от старой застройки. Еще лет пятьдесят тому назад этот двор и все на нем выглядело совсем иначе. Погреб строил еще брат бабушки Анны – Василий Погребной. Теперь Василий был этими камнями, возможно, даже камнями моей памяти о нем, 24-летнем, лежащем под Варшавой. А камни, что он укладывал, словно хотели отойти вместе с памятью о нем, оставить это подворье. Но я их удерживаю, я говорю, чтобы они были тут им, Василием Погребным, которого призвали в Кировской области в Красную армию (я даже знаю, когда он погиб, – 14 января 1944 года). Почему-то бумаги, привезенные его однополчанином в Базар, не сохранились. Но сохранился еще этот погреб, который расползается, и постаревшие камни. Значит, Василий с нами. А за тем углом погреба бабушка Анна в последний раз увидела своего младшего брата Федора. Она тысячу раз об этом вспоминала. Погреб и эти камни помнят шестнадцатилетнего Федора Погребного – значит, и Федя с нами. Отсюда ушел на войну мой дед Василий Кардинал, чтобы оказаться в Каттакургане Самаркандской области, там выжил, несмотря на дизентерию, несмотря на особистов, которые проверяли этих неблагонадежных галичан. Тут, на этом дворе, играли свадьбы моей бабушки, мамы и маминого брата Федора. Отсюда отошли на вечный покой прабабушка Юлия, дед Василий, бабушка Анна.

Каждый базарский двор мог бы рассказать мне что-нибудь

о своих хозяевах, но смогу ли я всех запомнить? Я могу написать только о тех, кого любил и кого хорошо знал, кто в этих камнях, кого поглотило их молчание.

Что значит – возвращение?

Какими дворами мы перейдем к разговору о наших холмах?

Почему от этого воздуха перехватывает дыхание?

Шастают ли теперь куницы под засохшей картофельной ботвой? Должно быть, не по нашему двору. Чем им тут поживиться? Наши легкие куры, перезимовавшие на воде и картошке, перелетели дорогу на Ковалихин ров и исчезли среди акаций навсегда.

Я помню сладость тех акаций (примерно в мае они расцвели), а потом эти густые соцветия мы срывали и ели. Высав сладкий сок из лепестков, выплевывали пережеванный мякиш, смоченный слюной и нашим детским голодом.

Я видел много стран. Я встречал немало людей и знаю, что у них другая история. Я знаю, как муравьи выносят нас, спящих, знаю, почему след куницы устлан окровавленными перьями. Я разговаривал базарским говором, я знаю слова, которые не вошли ни в один из словарей, они – из базарского воздуха над Джуринкой и с базарских холмов. Кто их может выучить? Они даются от рождения, как имя и фамилия и как право на жизнь и на смерть.

Раз и навсегда.

Июнь 2013

Чортков

Для меня Чортков теперь – это фотографии. Более всего мне нравятся две – с осенним и зимним пейзажами.

С них я и начну.

На обеих – панорама города: величественный шпиль костела, окруженного домами, как спичечными коробками, из-за которых видны нитки дорог, машины, люди. Одна позолочена осенними деревьями и размазанной желтой пылью воздуха, на другой – как подгоревший хлеб, почерневший снег на крышах тех самых спичечных коробков домов, – это город зимой.

Я могу лишь представить себе запахи этого осеннего и зимнего города. Возможно, потому, что запахи сильнее всего привязывают к месту, становясь добычей твоих возвращений и превращений, ты закрываешь глаза и нюхаешь этот хлеб памяти.

В осенней фотографии, скорее всего, выразительно пахнет дымом подожженных листьев, а падающие каштаны трескаются, разбиваясь о брусчатку старинных улиц, пахнут также бензин и солидол грузовиков и тракторов, которые перевозят картофель и свеклу на приемные пункты и сахарозаводы. Повсюду жирный запах чернозема с огородов, перекопанных на зиму, а пеленающее мутное течение Серета зеленовато отдает речной рыбой. И по-особенному пахнет желез-

ная дорога: прогретые просмоленные шпалы выделяют черную смолу, как сосна живицу. Запах золотых листьев табака, ранних яблок, свежевыпеченного хлеба с хлебозавода долго висит в улицах и переулках.

Зима с проталинами снега кормит птиц, которые остались зимовать. Вороны, воробьи и городские голуби кружат над деревьями и крышами или подбираются на тротуарах и площади в поисках какой-нибудь еды и вдруг срываются с мест, встревоженные прохожими. Зима пахнет бельем, дубеющим на морозе, она приходит серой куницей и смазывает хвостом все цвета, вытирая их до полутонов, и, встревоженная, скрывается в темноте. Морозный воздух сковывает запахи, словно тонкий слой льда, образовавшийся за ночь на Серете, – но только до середины реки, рыбе есть чем дышать. Зимой морозный воздух пахнет остро, как в аптеке лекарства, а белые деревья и дома – городские фармацевты моей памяти.

Все расплывается, как тушь на промокашке.

Город, заполняя все собой, возвышается над временем и сам становится временем (то есть словом).

Вероятно, отдаленность во времени и в пространстве этой истории заставляет меня всматриваться в незначительные детали города, и я замечаю не только разные архитектурные стили (от классических построек времен Австро-Венгрии до панельных пятиэтажек соц-арта), которые схвачены одним мгновением, легким нажимом спуска фотоаппарата, но и от-

сутствующих на снимках жителей города, которые как будто только что вышли из своих домов, но их не сможет ухватить и проявить никакой фотограф. Они домысливаются мной, заполняя этот городской пейзаж собой и своими голосами.

Я обязан их вызвать, ведь без них моя история не стоит и ломаного гроша.

Это постоянное возвращение в места, которым ты всем обязан и которым в конце концов ничего не можешь дать, кроме своей памяти о них, искушает тебя перемешать жанры и воспоминания. Хочется переписать отрывки воспоминаний в один, каким-то образом связанный текст, подобно проходу невесть-куда по одной улице, минуя переулки, с верой в то, что именно это и есть твой путь.

Первым городом в моей жизни, который я увидел, был Чортков. Значительно позднее я выяснил, что там я и родился. И уже позже, в Нью-Йорке, мне захотелось вернуться в Чортков. Однако, когда перед тобой Атлантика и целая Европа, возвращение, возможно, и не предполагает твоего физического присутствия (что, в свою очередь, облегчает процесс вглядывания в детали, но затрудняет запоминание запахов).

Несмотря на все чувства к этому городу, в котором я часто бывал, родным его не считаю. Более или менее ориентируюсь в переплетении центральных улиц. Помню, что в костеле в 1970-е годы располагался какой-то склад. Помню ка-

кие-то магазинчики, рынок с его старыми постройками. Хорошо помню дорогу на вокзал (ибо часто ездил к деду и бабушке, еще учась в школе или позже – студентом).

Война не разрушила Чортков, и некоторые старые здания времен Польши и Австрии в центре города сохранились. Присутствие XIX века в архитектуре свидетельствует о подлинности города, однако холмистый рельеф Чорткова не способствовал классическому местоположению ратуши с квадратной формой его центра, от которого обычно расходятся к окраинам все улицы. В Чорткове извивающиеся улицы с резкими перепадами по высоте как будто уравнивают старинные постройки возле Доминиканского костела, которые простираются выводками двух- и трехэтажных домов вдаль и вверх, сохраняя блеск австрийской и польской брусчатки, впоследствии покрытой рытвинами советского асфальта.

Исторические топосы Чорткова, и прежде всего этнические и религиозные (украинская общность в Чорткове вплоть до 1939 года – то ли чортковские евреи, то ли чортковские поляки) – все это, казалось, было закатано катком советской ремонтно-дорожной бригады, трамбовавшей асфальт, который, надо сказать, долго не сохранялся, и его периодически латали.

История, без сомнения, важна для Чорткова.

Без истории вообще нет города.

В Википедии написано, что в 1931 году из 19 000 жителей Чорткова 22,8 процента составляли украинцы, 46,4 процента – поляки, 30 процентов – евреи. Синагога раби Шапири и синагога раби Фридмана, старые названия улиц, воспоминания Флоренс Мейер Либлич – это все, что осталось от евреев. Из известных жителей – прежде всего евреи: Шлемке Горовиц – раввин Никольберга, Пинхас Горовиц – раввин Франкфурта, Карл Эмиль Француз – немецкий писатель. Ли Страсберг – актер, – еврейское местечко, а во время войны еврейское гетто, в котором было около пятисот человек, вывезенных впоследствии в лагерь смерти Белжец. Также известная в Чорткове династия хасидов, основанная Давидом Моше Фридманом. Проходя мимо магазина Фридмана в Бруклине, думаю, что они из Чорткова. Когда-нибудь спрошу...

Моя новая знакомая из городка Нью Рошел – миссис Кригель. Ей восемьдесят лет. В ее магазине на одной из центральных улиц этого поселения недалеко от Нью-Йорка мы разговариваем о Чорткове. Уже несколько десятилетий она продает там разнообразные шторы, занавески, посуду и другие товары. На ее столе – иголки, нитки, шпульки, две швейные машинки. Иногда покупатели просят подогнуть занавески под размеры своих окон и полок. Она говорит со мной по-украински, читает по памяти Лесю Украинку и углубляется в воспоминания. Вместе мы забредаем в Чортков 1940-х годов, в гетто. Собственно, лишь только она (ибо то – не мое

время, и мне туда нельзя). Ее влажные глаза, едва дрожащие губы, седые волосы Рахили и благородное лицо, сохранившее легкий след былой красоты, рассказывают мне о Чорткове, ее и моем городе, нашем общем городе, хотя и разделенном между нами годами.

Вне зависимости от наговоренных стереотипов, которые на сегодня сложились между украинцами и евреями, мне кажется, что я говорю с деревенской женщиной, ведь ее язык настолько пропитан местным украинским говором, что иногда кажется – я общаюсь со своей, оказавшейся в Нью-Рашели бабушкой, и она рассказывает мне истории из своей жизни, уложенные в ее памяти.

Однако напротив меня – глаза Рахили.

Иногда она путает языки и говорит по-польски или вставляет английские слова, иногда ее влажные глаза с красными прожилками становятся сухими, иногда ее слова непонятны...

Чортков советских времен напоминал бы типичный райцентр. Но войсковые части (преимущественно авиационные) были одним из форпостов Прикарпатского военного округа, именно они изменили структуру города. Советские летчики представляли все национальности Советского Союза, как и солдаты срочной службы.

В городе появлялись военторги, военные столовые, воинские части, которые строили жилье для военных. В эту сфе-

ру деятельности были включены и местные жители (но не все). Скажем, чьи-то родственники находились на «оккупированной территории во время Великой Отечественной войны» или некоторые подозревались в симпатиях к националистам (примечательно, что в 1973 году в городе были вывешены желто-синие флаги, и город оцепенел), кроме того, местные жители (через одного) имели родственников за границей. Поэтому для местных построили ремонтный завод, кондитерскую фабрику, АТП, а тщательно проверенным разрешалось работать в военной инфраструктуре.

После войны время было наполнено страхом и запахом смерти. Украинское подполье, партизанщина, гарнизоны, НКВД, смерть и предательство – это было время хаотичной войны без какой-либо линии фронта, которая приближалась и отступала между днем и ночью, между своими и завоевателями, дележом, утратами, подозрениями, смертями.

Прибывали первые переселенцы из Надсянщины и Лемковщины. Целые села и семьи попадали в иное измерение, изменяя столетний уклад жизни. Возвращались остарбайтеры и те, кто попал в советскую оккупационную зону. Возвращались воины Советской армии, которых забрали на службу в 1944 году и завезли (как в случае с моим дедом) в Самарканд, а оттуда бросили на фронт в район Кенигсберга.

Скорее всего, все они были обречены: переселенцы – вызвали подозрение у советской власти за ее неприятие, ведь был разрушен уклад их жизни. Остарбайтеры подозревались

той же советской властью в сотрудничестве с немцами, воины Красной армии – в недостаточной лояльности к власти, – а в недостаточном патриотизме могли обвинять всех и всё украинское подполье. Местные жители становились заложниками всех. Все шло рядом: москали – с бандеровцами, колхозники с частниками, смерть – с жизнью, предательство с честностью. Нужно было выбирать, но особого выбора не было.

Совсем недавно я прочитал протокол допроса тогдашнего председателя сельсовета села Базар. Допрос производился в феврале 1948 года. Тот, кто допрашивал, спрятался за цифрами 20-3. В конце допроса он оставил довольно интересный комментарий личности допрашиваемого, проявляя свой дар психолога, излавливая допрашиваемого на неточностях, изворотах, в конце концов, на явной игре на обе стороны. Человек, которого допрашивали, хотел каким-то образом выбраться из хаоса и выжить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.